

НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПРЕМИЯ США

НЕВИДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК

ВХОДИТ
В СПИСОК
100 ЛУЧШИХ
РОМАНОВ
ВСЕХ
ВРЕМЕН

ральф
ЭЛЛИСОН

Перевод
Елены Петровой

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

МИ∞

Ральф Эллисон родился в штате Оклахома; обучался музыке в Институте Таскиги (ныне Университет Таскиги) с 1933 по 1936 г.; в период обучения совершил поездку в Нью-Йорк, где познакомился с Ричардом Райтом; результатом этой встречи стала его первая проба пера в области художественной прозы. Написанные Эллисоном рецензии, рассказы, статьи и критические очерки печатались в антологиях и ряде общенациональных журналов. Роман «Невидимый человек» удостоился Национальной премии по литературе (США), а также премии Рассурма. С 1955 по 1957 г. Эллисон был научным сотрудником Американской академии в Риме. Впоследствии преподавал в Бард-колледже, а в 1961 г. в качестве приглашенного лектора — в Чикагском университете по программе Александра Уайта. В 1962–1964 гг. работал приглашенным преподавателем творческого письма в Ратгерском университете. В 1964 г. выступил с лекцией по программе Гертруды Кларк-Уиттолл в Библиотеке Конгресса и циклом лекций по программе Юинга в Калифорнийском университете. В том же году был направлен в Американскую академию художеств и литературы в Риме. С 1970 по 1980 г. занимал должность профессора и заведующего кафедрой гуманитарных наук имени Альберта Швейцера в Нью-Йоркском университете. Выступил членом-учредителем Национального совета по делам искусств и гуманитарных наук, участвовал в работе Комиссии Карнеги по общественному телевидению, был членом попечительского

совета Центра Дж. Ф. Кеннеди по делам сценических искусств и членом попечительского совета Колониального фонда Уильямсбурга. Является автором двух сборников эссеистики: «Тень и действие» и «Вхождение в территорию». Ральф Эллисон скончался в 1994 г.

«Будучи близким другом Ральфа Эллисона, я хорошо помню, насколько сильно он хотел увидеть издание книги на русском. Многие догадываются, что “Записки из подполья” Федора Достоевского послужили непосредственным источником вдохновения при создании “Невидимого человека”. Но мало кто знает, что во время учебы в Бард-колледже с 1958 по 1960 год он преподавал один из первых курсов русской художественной литературы в переводе в Соединенных Штатах или что русский роман занимал в его воображении такое же место, как и любимая им американская литература.

Теперь, благодаря вам, русские читатели могут познакомиться с его романом на своем языке. Я уверен, что Ральф был бы горд и счастлив».

*Джон Ф. Каллахан,
литературный душеприказчик Ральфа Уолдо Эллисона*

Посвящается Иде

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

ВСТУПЛЕНИЕ

Может ли писатель сказать о своем произведении хоть что-нибудь такое, чего лучше не оставлять на откуп критикам? У них, впрочем, есть одно важное преимущество: они вникают в те слова, которые уже выстроились на книжной странице, тогда как автору приходится, так сказать, уговаривать джинна, воспарившего в дымном облаке, безропотно ретироваться, причем не в традиционную бутылку, а в допотопную пишущую машинку с чернильной лентой и молоточками клавиш. И такое сравнение особенно наглядно в случае этого романа, который с момента нежданного мысленного зачатия развивался совершенно и самопроизвольно. И впрямь: пока я бился над совсем другой историей, этот роман уже заявил о себе словами, которые предназначались для пролога, там обжились, а потом добрых семь лет терзали мое воображение. И более того: невзирая на мирный фон, роман этот вырвался из жерла военного замысла.

Обозначился он летом 1945 года в каком-то амбаре, когда я, моряк торгового флота, получивший отпуск по болезни, оказался в городке Уэйтсфилд, штат Вермонт, а далее преследовал меня в различных частях Нью-Йорка и даже спускался вместе со мной в переполненную подземку; он вселился ко мне в переоборудованное из бывшей конюшни жилье на Сто сорок первой улице, затем перебрался в однокомнатную квартирку на первом этаже дома по Сент-Николас-авеню, и, что самое неожиданное, мы с ним взмыли на восьмой этаж дома номер шестьсот восемь по Пятой

авеню, где попали в настоящие апартаменты, большую часть которых занимал ювелирный салон. Благодаря щедрости Беатрис и Фрэнсиса Стигмюллер, которые тогда находились за границей, я познал важную истину: в элегантном кабинете собрата по перу пишется ничуть не проще, чем в тесной многосемейной квартирке в Гарлеме. Различия, конечно, ощущались, и весьма значительные, причем некоторые из них волшебным образом укрепили мою шаткую веру в себя и, вероятно, послужили катализатором для невообразимой мешанины элементов, вошедших в зреющий роман.

Собственники апартаментов, Сэм и Августа Манн, обеспечивали мне комфортные условия для работы, следили, чтобы я обедал по часам (нередко за их счет) и всегда поощряли любые мои усилия. С их легкой руки я как-то незаметно стал, подобно уважаемому джентльмену, придерживаться четкого рабочего графика, а постоянный приток великолепных ювелирных изделий, коими изобиловали те апартаменты, и профессиональный интерес их обитателей к жемчугу, бриллиантам, платине и золоту создавали у меня ощущение роскошного образа жизни. Таким образом, восьмой этаж стал, фактически и символически, высшей точкой развития сюжета; апартаменты столь разительно отличались от нашего полуподвального жилища, что могли сбить мне все ориентиры, не работай я целенаправленно и сосредоточенно над образом главного героя, который старается найти свое место в определенных кругах общества, но не может разобраться в правилах, ритуалах и мотивах поведения.

Примечательно, что вопросы относительно моего присутствия в столь богатом доме возникали исключительно у лифтеров: как-никак, в ту эпоху консьержи зданий, расположенных в районах проживания представителей среднего и высшего класса, по обыкновению направляли таких, как

я, к грузовому лифту. Правда, должен сразу оговориться: в доме номер шестьсот восемь подобного не случилось — свыкшиеся с моим присутствием лифтеры вели себя весьма дружелюбно. Среди них встречались иммигранты с образованием, и даже они были настроены благожелательно, хотя сама мысль о том, что я писатель, казалась им забавной.

Зато кое-кому из соседей по Сент-Николас-авеню я, наоборот, доверия не внушал. Думаю, причиной тому стала моя жена Фанни, которая уходила и возвращалась по расписанию, как и любой человек, имеющий постоянное место работы, а я обычно сидел дома и выходил лишь в неурочные часы, чтобы вывести на прогулку наших скотч-терьеров. Но по сути, все объяснялось просто: я не вписывался ни в одно из привычных амплуа, легальных или криминальных: не головорез и не подпольный букмекер, не наркодилер и не почтовый служащий, не врач и не адвокат, не портной и не гробовщик, не цирюльник, не бармен, не пастор. И хотя моя речь выдавала какое-никакое высшее образование, соседям было предельно ясно, что я не отношусь к когорте профессионалов, населяющих этот район. Таким образом, мой неопределенный статус служил поводом для спекуляций и даже источником тревоги, особенно среди тех, чьи поступки и поведение шли вразрез с нормами закона и порядка. Наши отношения ограничивались приветственным кивком: мои соседи старались держаться подальше от меня, а я — от них. Ко мне всюду относились настороженно: как-то раз я шел весьма сомнительной улочкой навстречу зимнему солнцу, и какая-то пьянчужка недвусмысленно высказалась о моем месте в ее рейтинговой таблице людских типов и характеров.

Привалившись к стене углового бара, она вперилась в меня мутным взглядом и сквозь компанию таких же выпивох отпустила на мой счет буквально следующее:

— Вон тот нигер — он у нас вроде котяры, а у женушки его, видать, собственный угодник имеется: сам-то он только и делает, что шавок своих поганых выгуливает да снимки щелкает.

Откровенно говоря, я был поражен столь низкой оценкой, ведь под «котярой» она подразумевала альфонса, который живет на иждивении у женщины: такого выдают развязные манеры, неограниченный досуг, броские наряды и звериная деловая хватка прожженного жиголо, но я даже отдаленно не напоминал подобного типа, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как самой захохотать над собственным провокационным выпадом. Вместе с тем она явно рассчитывала на ответную реакцию — либо злобную, либо примирительную, — но была слишком пьяна, чтобы дожидаться ответа, и довольствовалась тем, что хотя бы пролила свет на сумрак моего существования. Это меня скорее позабавило, нежели возмутило, а поскольку я, выполнив заказ на фотосъемку, возвращался домой с честным заработком в полсотни долларов, то вполне мог позволить себе молчаливо улыбаться под завесой таинственности.

Однако эта пьянчужка почти безошибочно угадала один из источников дохода, позволявших мне заниматься писательством, о чем также стоит упомянуть, рассказывая историю возникновения романа. Дело в том, что моя жена более исправно пополняла семейный бюджет, мое же участие преимущественно ограничивалось случайными подработками. За время создания этого романа жена прошла путь от секретарши в различных организациях до исполнительного директора в Американском медицинском центре помощи Бирме, который поддерживал деятельность доктора Гордона С. Сигрейва, знаменитого «бирманского хирурга». Я, в свою очередь, опубликовал несколько книжных рецензий, пристроил некоторое количество статей и рассказов,

подвизался фотографом на фрилансе (сделав, среди прочего, портреты Фрэнсиса Стигмюллера и Мэри Маккарти для книжных обложек), а кроме того, подхалтуривал на сборке звукоусилителей и установке аудиосистем hi-fi. Еще оставались кое-какие сбережения от моих флотских заработков, грант Розенвальда, продленный затем на второй срок, небольшой аванс от издателя и ежемесячная стипендия, назначенная мне ныне покойной госпожой Дж. Сизар Гуггенхаймер, другом нашей семьи и меценатом.

Разумеется, соседи пребывали в полном неведении, как и наш арендодатель, который считал писательство весьма сомнительным занятием для здорового парня, а потому в наше отсутствие не гнушался заглянуть к нам в квартиру и покопаться в моих записях. С подобными досадными мелочами приходилось мириться, раз уж я отважился на столь отчаянную авантюру — стать писателем. По счастью, жена верила в мои способности, обладала тонким чувством юмора и умела прощать соседей. А я открыл для себя занятную инверсию социальной мобильности, определяемой, как правило, по расовому признаку: так сложилось, что я ежедневно бродил по негритянским кварталам, где незнакомцы сомневались в моих моральных качествах на том лишь основании, что человек одного с ними цвета кожи странным образом отклоняется от общепринятых норм поведения, находя прибежище в районах с преимущественно белым населением, где все те же цвет кожи и неясность моей социальной роли позволяли мне сохранять анонимность и не привлекать к себе всеобщего внимания. С позиций сегодняшнего дня кажется, что, работая над книгой о невидимости, я сам порой становился то прозрачным, то светонепроницаемым, отчего метался между невежеством провинциального городка и вежливой отрешенностью гигантского мегаполиса. Все это, особенно на фоне

сложностей, с которыми мне как автору пришлось столкнуться во время изучения столь пестрого общества, можно считать неплохой практикой для любого американского писателя.

Если не принимать в расчет временное пристанище на Пятой авеню, роман вынашивался главным образом в Гарлеме, где подпитывался интонациями, словечками, фольклором, традициями и политическими тревогами людей моего этноса и культуры. Вот и все, пожалуй, о географических, экономических и социологических трудностях, сопровождавших написание романа; теперь вернемся к обстоятельствам его зарождения.

В центре повествования, которое потеснил голос, авторитетно рассуждавший о невидимости (здесь нелишне об этом упомянуть — то был ошибочный шаг на пути к нынешнему виду романа), находился пленный летчик-американец, оказавшийся в нацистском концлагере, где ему удалось добиться самого высокого положения в лагерной иерархии и по закону военного времени сделаться посредником между остальными заключенными и командованием лагеря. Нетрудно догадаться, на чем строится драматический конфликт: среди заключенных-американцев этот летчик оказался единственным чернокожим, и начальник лагеря, немец, использует этот конфликт для собственного развлечения. Вынужденный выбирать между одинаково ненавистными ему американской и иностранной разновидностями расизма, мой пилот отстаивает демократические ценности, которые разделяет с белыми соотечественниками, и черпает душевные силы в чувстве собственного достоинства и в новом для себя осознании человеческого одиночества. Рожденная войной модель солдатского братства, столь выразительно описанная у Мальро, остается для него недоступной:

он с удивлением понимает, что все его попытки относиться к землякам как к братьям по оружию основаны в конечном счете на лживых обещаниях из числа тех национальных девизов и лозунгов, которые звучат в романе «Прощай, оружие!» во время беспорядочного отступления из Капоретто и кажутся герою Хемингуэя пошлыми. Герою Хемингуэя удается, тем не менее, оставить позади войну и обрести любовь, но у моего героя нет любимого человека, да и бежать ему некуда. Поэтому он должен был либо подтвердить приверженность идеалам демократии и сохранить собственное достоинство, помогая тем, кто его презирает; либо принять свою ситуацию как безнадежно лишённую смысла: выбор, равносильный отказу от собственной человечности. Но по иронии судьбы никто вокруг не знает о его душевной борьбе.

По здравом размышлении все это кажется преувеличением, но исторически большинство вооруженных конфликтов нашей страны, по крайней мере для афроамериканцев, сводилось к «войне в войне». Достаточно вспомнить Гражданскую войну, последнюю из Индейских войн, Испано-американскую войну, Первую и Вторую мировые войны. Неграм во имя исполнения гражданского долга зачастую приходилось сражаться за свое самоутвержденное право сражаться. И мой пилот готов пожертвовать собой, исполнить воинский долг перед своей страной и правительством, однако для правительства его страны жизнь, принесенная в жертву белым человеком, имеет более высокую цену. Такое положение вещей — экзистенциальная пытка для моего героя, он сжимается, будто в железных тисках, при мысли, что после подписания мирного договора начальник немецкого лагеря, возможно, иммигрирует в Соединенные Штаты и будет наслаждаться свободами, недоступными даже самым доблестным солдатам-неграм. По этой

причине мой герой окружает чрезвычайной таинственностью все связанное с расой и цветом кожи и доводит до абсурда понятия воинской отваги и демократических идеалов.

Для прохождения службы сам я выбрал более демократичное место — гражданский флот (как и мой бывший собрат по перу, поэт, без вести пропавший под Мурманском в первом рейсе) и в качестве матроса нес береговую службу в Европе, где познакомился со многими солдатами из негров и слушал их живые рассказы о далеко не демократических условиях, в которых они трудились и воевали. Мой отец участвовал в битве при Сан-Хуан-Хилле, сражался на Филиппинах и в Китае, поэтому мне известно, что за подобным недовольством и ропотом скрывалась неразрешимая для Америки тех лет дилемма: почему в военное время к неграм относятся как к равным, а в мирной жизни не признают за ними права на равенство перед законом? Я также слышал о процессах над американскими летчиками-неграми, которые проходили обучение в сегрегированных военных подразделениях, подвергались дискриминации как внутри, так и вне армии и часто не допускались к боевым вылетам.

Более того, я опубликовал небольшой рассказ с подобным сюжетом, но прежде, в процессе обработки воспоминаний и придания им литературной формы, со всей определенностью понял, что недооценил всю сложность проблемы. Поначалу я мыслил категориями противопоставления большинства и меньшинства, белого и черного в ситуации, когда белые офицеры не признают человеческую натуру в черном сослуживце, который совершенствует свои технические навыки, чтобы достойно служить родине и одновременно поправить свои финансовые дела, но вскоре мне стало ясно, что у моего героя сложности с восприятием самого себя. Это связано с двойственным отношением

моего пилота к классовым различиям и разнообразию культур внутри его социальной группы; осознание амбивалентности приходит к нему после вынужденной посадки на южной плантации, где ему оказывает помощь черный фермер-арендатор, чей вид и манера поведения служат для пилота болезненным напоминанием о неопределенности его собственного воинского статуса, а также об их общем рабском происхождении. Человек двух миров, мой пилот ни в одном из них не находит понимания и, как следствие, нигде не чувствует себя вольготно. Если коротко, история повествует о его сознательной борьбе за самоидентификацию и неопровержимую презумпцию человеческого достоинства. Тогда я еще и думать не думал о тождестве пилота с человеком невидимым, хотя для этого были определенные предпосылки.

Примерно тогда же я опубликовал рассказ о молодом моряке-афроамериканце, который сошел на берег в городке Суонси, Южный Уэльс, получил в глаз от белых американцев из-за светомаскировки на темной улице с названием «Прямая» (нет, имя его не Савл, и он не становится Павлом!), и теперь ему неизбежно предстоит разобраться с неприятными моментами в процессе самоотождествления с другими американцами. Только в данном случае моряк начинает рефлексировать под влиянием спасших его валлийцев, которые неожиданно обращаются к нему «черный янки», приглашают в закрытый клуб и потом исполняют национальный гимн США в его честь. Оба рассказа вышли из печати в 1944 году, а уже в 1945 году на ферме в Вермонте тема поиска собственной идентичности черным парнем вновь заявила о себе, но куда более причудливо.

Прежде я писал рассказы, основываясь на личном опыте, ясно представлял себе образы персонажей и их жизненные обстоятельства; теперь же у меня в запасе не было

никаких фактов, только дразнящий бестелесный голос. И пока я выстраивал сюжет романа вокруг активных военных действий, голос старался привлечь мое внимание к конфликту, не утихающему со времен Гражданской войны. Опыт подсказывал, что я могу не волноваться за исторический контекст, оставалось лишь решить художественную задачу: описать человеческие чувства и философский выбор отдельной личности. Блестящий сюжет, как мне представлялось, для романа об Америке и непростая задача для начинающего писателя. Именно поэтому меня так раздражало, что мои усилия сводились на нет ироничным протестным голосом, звучащим поразительно дерзко, словно сигнал горна посреди музыкального произведения, как, например, в «Военном реквиеме» Бриттена.

Более того, голос точно знал, что в мои намерения не входит создание научно-популярной книги. По сути, голос провоцировал меня, намекая на псевдонаучную социологическую теорию, согласно которой большинство проблем афроамериканцев возникает по причине их «высокой видимости» — лицемерная фраза, вводящая в заблуждение, точь-в-точь как родственные ей современные оксюмороны «нарочитое невнимание» и «обратная дискриминация», что, попросту говоря, означает «толкайте этих негров вперед, пусть знают свое место». Долгие годы эта фраза вызывала у моих друзей саркастическую усмешку: мол, темнокожего брата «сдерживают и уравнивают» — хотя скорее сдерживают, нежели уравнивают — лишь из-за темного цвета кожи, а брат, тем не менее, ярко высвечивает всю человеческую подноготную американцев, и в ответ белое большинство демонстрирует моральную слепоту и якобы не замечает сложности положения темнокожего; даже более поздние волны переселенцев довольствовались, как и он, статусом граждан второго сорта, в чем

не признавались, а перекладывали всю ответственность на белое население Юга.

Так, несмотря на расплывчатые утверждения социологов, «высокая видимость» в действительности делает человека невидимым — и в полуденных лучах, что скользят по окнам универмага «Мейсис», и в свете пылающих факелов и фотовспышек во время ритуального акта самопожертвования во имя идеала господствующей белой расы. Когда все это знаешь, а также видишь непрестанное расовое насилие и отсутствие правовой защиты, то спрашиваешь себя: что еще способно вселить в нас решимость настойчиво добиваться своего, как не смех? Вдруг в этом смехе скрыт едва заметный триумф, не принятый мною в расчет, и все же более конструктивный, чем примитивная ярость? Тайная, выстраданная мудрость, способная предложить запутавшемуся афроамериканскому писателю более эффективный способ выразить свою точку зрения?

Это была поразительная идея, к тому же голос и блюзовые нотки смеха звучали так убедительно, что настраивали мысли на определенный лад; текущие события, воспоминания и артефакты внезапно стали сливаться воедино, в размытую пока, но уже интересную новую форму.

Незадолго перед тем, как вмешался представитель со стороны невидимости, я находился в близлежащей вермонтской деревушке и обратил внимание на афишу театральной постановки «Шоу Тома» — забытое название шоу менестрелей (то есть с актерами, загримированными под черных) по мотивам романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Мне думалось, такого рода представления давно канули в Лету, но нет: в тихом селении на Севере они были живы и все еще популярны, а Элиза, как прежде, в отчаянии скользила по треснувшему льду, чтобы оторваться от своры исходящих слюной ищеек — и это в период Второй мировой войны...

О, я скрылся в холмах / чтобы спрятать лицо / и холмы прорыдали / нет убежища / нет тебе убежища / здесь.

Его нет, поскольку, как утверждал Уильям Фолкнер, то, что обычно считается прошлым, — это даже не прошлое, а часть живого настоящего. Тайное, непримиримое, сложное, оно одухотворяет как зрителя, так и наблюдаемые им сцену, реквизит, поведение и атмосферу; настоящее плаголет, даже если никто не хочет слушать.

И вот я внимал, и неясные некогда образы стали складываться в единую картину. Странные образы, неожиданные. Как та афиша, напомнившая мне о завидном упорстве, с которым нация малодушно отходит в сторону, когда ей подсовывают расовые стереотипы и клише, и о легкости, с которой глубочайший трагический опыт прошлого превращается в фарс, шоу менестрелей. Даже сведения о биографиях друзей и знакомых мало-помалу выстраивались в систему скрытых взаимосвязей. Так, жена в смешанном браке приютившей нас пары приходилась внучкой уроженцу Вермонта, генералу Армии США во время Гражданской войны — еще один элемент в дополнение к афише. Фрагменты старых фотоснимков, стишки и загадки, детские игры, церковные службы и церемонии в колледже, розыгрыши и политическая деятельность — все, чему я был свидетелем в довоенном Гарлеме, стало на свои места. Для газеты «Нью-Йорк пост» я написал статью о беспорядках 1943 года, ранее выступал за освобождение Анджело Хэрдона и Скоттсборо бойз, маршировал рядом с Адамом Клейтоном Пауэллом-младшим, когда тот ратовал за отмену сегрегации в магазинах на Сто двадцать пятой улице, был в гуще толпы, заблокировавшей Пятую авеню в знак протеста против роли Италии и Германии во время Гражданской войны в Испании. Всё и вся, казалось, лило воду на мельницу моего романа. Некоторые детали определенно

подсказывали: «Используй меня точно в этом месте», тогда как другие хранили свою тревожную тайну.

К примеру, мне вдруг вспомнился один случай, произошедший со мной в колледже: я откупоривал бочонок со скульптурным пластилином, подаренный некой студией на севере моему другу-инвалиду, скульптору, и в толще жирной массы нашел фриз с фигурами образца тех, что были созданы Сент-Годенсом для мемориала в парке Бостон-Коммон в память о полковнике Роберте Гулде Шоу и его 54-м Массачусетском негритянском полке. Трудно объяснить, с какой стати эта история пришла мне на ум: вероятно, с целью напомнить, что раз уж я пишу роман и хоть сколько-то интересуюсь примерами единения черных и белых, то не стоит забывать о брате Генри Джеймса, Уилки, воевавшем в чине офицера бок о бок с неграми 54-го Массачусетского, и о том самом полковнике Шоу, чье тело было предано земле вместе с телами его подчиненных. А еще эта история призвана была напомнить мне, что на поверхностный взгляд война есть проявление насилия, но при посредстве искусства она подчас предстает чем-то более значимым и глубоким.

По крайней мере, голос, говоривший от имени невидимости, как теперь оказалось, пробивался из самых низов американского сложноорганизованного андеграунда. Ну разве не безумно логично, что в конце концов я разыскал обладателя голоса — боже, такого балагура — в заброшенном подполье. Разумеется, все происходило гораздо более хаотично, чем это звучит в моем изложении, но по сути — внешне-внутренне, субъективно-объективно — таков процесс создания романа, его пестрой витрины и сюрреальной сердцевины.

Тем не менее я все еще не оставлял мысли заткнуть уши и продолжить роман, работа над которым была прервана, но подобно многим писателям под напором «разрушительной

стихии», по выражению Конрада, впал в состояние повышенной восприимчивости: в таком отчаянном положении писателю-романисту трудно игнорировать любые, даже самые неопределенные мысли-чувства, возникающие в процессе творчества. Ведь писатель вскоре понимает, что такие размытые проекции вполне могут оказаться неожиданным подарком его мечтательной музы, и если отнестись к этому подарку с умом, то можно получить необходимый материал и при этом не утонуть в приливах творческой энергии. Но в то же время дар этот способен погубить писателя, повергнуть его в трясину сомнений. Мне и без того было нелегко обходить молчанием те вещи, которые превратили бы мою книгу в очередной роман протеста против расовой дискриминации вместо задуманного мною важного исследования в области гуманитарной компаративистики; во всяком случае, я полагал, что подобное исследование — суть любого стоящего романа, и голос, похоже, вел меня в нужном направлении. Но потом, когда я стал прислушиваться к его дразнящему смеху, размышлять, кто бы мог так говорить, и в итоге решил, что это, по всей видимости, представитель американского андеграунда, скорее ироничный, нежели злой. Он смеется над ранами — и смех его окрашен блюзовыми нотками; он свидетельствует против самого себя в деле о *la condition humaine**. Идея пришлась мне по нраву, и тогда я мысленно нарисовал образ этого человека и связал его с конфликтами — как трагическими, так и комическими, которые со времен окончания Реконструкции отнимали у моего народа жизненную энергию. Я вызвал его на откровенность, узнал о нем чуть больше

* Человеческая ситуация, человеческое достоинство (*фр.*) — междисциплинарное понятие, описывающее условия человеческого существования.

и пришел к выводу, что он — тот еще «персонаж», причем в обоих смыслах этого слова. Молодой человек, лишенный влияния, — живое свидетельство трудностей негритянских лидеров того времени: он обуреваем честолюбивыми помыслами о главенстве, но терпит фиаско — таким я его видел. Терять мне было нечего, и я, проложив себе широкую дорогу как к успеху, так и к провалу, решил, что он должен хотя бы отдаленно напоминать повествователя «Записок из подполья» Достоевского, и с этой мыслью сам сделался движущей силой для развития сюжета, а он тем временем все больше соединялся с моим особым отношением к литературной форме, а также с отдельными проблемами, проистекающими из плюралистической литературной традиции, на которой я вырос.

К таким проблемам относился вопрос о причинах, в силу которых большинство главных героев в афроамериканской литературе, не говоря уже о черных персонажах в произведениях белых писателей, лишены интеллектуальной глубины. Чаще всего авторы погружали их в самые серьезные социальные конфликты, заставляли испытывать крайне тяжелые затруднения, но практически никогда не наделяли способностью четко излагать суть мучительных вопросов. Вообще говоря, многие достойные люди не в состоянии внятно сформулировать собственные мысли, но в жизни были и есть исключения, которые проницательный писатель всегда возьмет на заметку. Не будь исключений, их стоило бы выдумать для большей художественной выразительности и наглядной демонстрации человеческих возможностей. В этом отношении нас многому научил Генри Джеймс с его сверхсознательными, утонченными персонажами «самой нежной прожарки», которые на свой манер образованных людей высшего света олицетворяют такие американские

добродетели, как совесть и самосознание. Такие идеальные существа вряд ли могли появиться в моем мире, хотя как знать: в обществе столько всего остается без внимания и без отображения. Вместе с тем передо мной стояла извечная цель американского писателя: наделить даром красноречия не только своих безгласных героев, но и отдельные эпизоды, и социальные процессы. Именно так любой американский деятель искусства выполняет свои обязательства перед обществом.

По-видимому, здесь сходятся интересы искусства и демократии: формирование демократического сообщества сознательных граждан, умеющих выражать свое мнение, является целью государства, тогда как создание персонажей, способных осознанно выражать свои мысли, необходимо для выстраивания композиционного центра художественного произведения, которое в процессе придания ему формы становится цельным и согласованным. Писатель-романист выявляет наш разрозненный опыт и наполняет его смыслом, то есть создает форму, внутри которой действия, эпизоды и личности говорят не только от собственного имени, и в данных обстоятельствах язык, как средство общения, делается союзником автора. По иронии судьбы — и несмотря на наши расовые проблемы — человеческое воображение, как и центробежная сила, ведущая к демократическим преобразованиям, — это интеграционный процесс. Хотя литературу определяют просто как форму символического действия, игру под названием «А что, если?», именно в этом таится ее истинное предназначение и потенциал для развития и перемен. Серьезная литература, как и политика в лучшем смысле слова, — это шаг на пути к идеалу. Литература приближается к этому идеалу постепенно, исподволь, отказываясь от данности в пользу всего положительного, что создано человеком.

Если на практике нам пока не удается достичь полного равноправия в политической жизни, у нас остается идеальная демократия на страницах художественной литературы, где переплетаются черты реального и идеального, а также демонстрируется такое положение вещей, при котором высокие и низкие чины, черные и белые, северяне и южане, коренные американцы и иммигранты объединяются, чтобы поведать нам о трансцендентальной истине и о возможностях сродни тем, что обнаружили, когда Марк Твен отправил Гека и Джима в плавание на плоту.

И я подумал, что роман можно представить как оплот надежды, познания и развлечений: он удерживает на плаву нашу нацию, пока та пытается обойти подводные камни и водовороты, неуверенно приближаясь к демократическим идеалам, а потом вновь отдаляясь от них. У литературы есть и другие задачи. Я еще помню то проникнутое оптимизмом время, когда каждый гражданин республики якобы мог — и должен был — готовиться стать президентом. Демократия рассматривалась не просто как общность индивидуумов, по определению Уистена Хью Одена, но как общность простых людей, разбирающихся в политике граждан, которые благодаря нашей хваленой системе всеобщего образования и свободе возможностей готовы управлять страной. Как выяснилось, такое маловероятно, но не исключено, и недавние тому примеры — арахисовый фермер и киноактер.

Непродолжительное время надежда теплилась и в сердцах афроамериканцев, вдохновленных присутствием чернокожего конгрессмена в Вашингтоне в период Реконструкции. Но даже при более трезвом взгляде на политические возможности (незадолго до того, как я приступил к работе над романом, Аса Филип Рэндольф был вынужден пригрозить нашему любимому Ф. Д. Рузвельту организацией марша

на Вашингтон с намерением добиться трудоустройства негров на предприятиях оборонной промышленности) я не видел законных оснований для ограничения моей писательской свободы, позволяющей мне использовать в творчестве потенциал личности афроамериканца и американского общества в целом со всеми его ограничительными мерами. Я поставил себе целью преодолеть эти ограничения. Как показал на своем примере Марк Твен, юмор в литературе обладает целительным свойством против недугов политической системы, и хотя в 1945 году, да и впоследствии обстоятельства постоянно брали верх над афроамериканцами, им ничто не мешало, подобно Братцу Кролику и его литературным кузенам, великим трагическим и комическим персонажам, переломить ситуацию в свою пользу, выйти из схватки победителями и начать осознанно воспринимать окружающий мир. Поэтому мне требовалось создать образ рассказчика, человека мысли и действия, готового к осознанной защите своих прав, в чем виделась мне основа для его неловких попыток нащупать свой путь к свободе.

Я хотел показать, какие культурные универсалии скрыты в тяжелом положении не просто американца, а чернокожего американца, — не только объясняя, что такое в моем представлении возможность или потенциал, но и отвечая на риторический вопрос о необходимости общения без расовых, религиозных, классовых или региональных барьеров, в основе которых лежит принцип «разделяй и властвуй», используемый и сегодня для предотвращения ситуации, при которой мы более или менее естественным путем пришли бы к признанию существования братского союза между черными и белыми. Чтобы победить стремление нации к отрицанию общечеловеческих ценностей, которые полностью разделяют и мой персонаж, и те, кто, быть может,



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

